

**Военные  
Приключения**

# СЕДЬМОЙ КРУГ АДА



**И. БОЛГАРИН    Г. СЕВЕРСКИЙ**

Адъютант его превосходительства

Игорь Болгарин  
**Седьмой круг ада**

«ВЕЧЕ»

2011

**Болгарин И. Я.**

Седьмой круг ада / И. Я. Болгарин — «ВЕЧЕ»,  
2011 — (Адъютант его превосходительства)

ISBN 978-5-4444-7834-9

Роман «Седьмой круг ада» повествует о новых приключениях любимого многими читателями и телезрителями Павла Кольцова, героя знаменитого телесериала «Адъютант его превосходительства». В романе вы вновь встретитесь с капитаном Кольцовым – узником крепости, заключенным в камеру смертников. Полыхает над Россией беспощадная Гражданская война, но друзья не оставляют попыток спасти отважного разведчика.

ISBN 978-5-4444-7834-9

© Болгарин И. Я., 2011

© ВЕЧЕ, 2011

## Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	19
Глава четвертая	23
Глава пятая	26
Глава шестая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Игорь Болгарин, Георгий Северский

## Адъютант его превосходительства

### Седьмой круг ада

#### Часть первая

#### Глава первая

– Завтра вас отправят в Севастопольскую крепость!.. Предадут суду!.. Расстреляют! – Голос генерала Ковалевского гремел, раскатывался под каменными сводами.

Кольцов вздрогнул и открыл глаза.

Над тяжелой железной дверью тускло светилась забранная в густую решетку лампочка. В полутьме серые стены камеры казались черными. Пахло сыростью, плесенью и затхлостью. Мерно и тупо звучали за дверью шаги надзирателя.

С тех пор как командующий Добровольческой армией генерал Ковалевский произнес это решительное и, казалось, бесповоротное «Завтра!..», минули дни, однако Кольцов по-прежнему оставался здесь, в знакомой до каждой царапины на стене камере. О причинах столь продолжительной задержки он мог лишь догадываться: очевидно, об этом позаботился начальник контрразведки армии полковник Щукин. В остальном же сомневаться не приходилось: все равно в конце концов произойдет именно то, что сказал Ковалевский.

Умом Кольцов понимал: надеяться не на что – товарищи помочь не смогут, бежать из подземной тюрьмы тоже невозможно. И все же где-то глубоко-глубоко в душе теплилась робкая надежда... Наверное, это сама природа человеческая, его молодая, не охлажденная житейской усталостью душа отказывалась вопреки всему верить в неизбежное.

Был ли страх, было ли отчаяние? Пожалуй, были: то, что он, бодрствуя, подавлял в себе, являлось во сне. И тогда Кольцов, спасаясь от преследующих его кошмаров, инстинктивно спешил проснуться. А потом часами неподвижно лежал на жестком тюремном топчане, думая не о будущем, а о прошлом, ибо будущее, вероятнее всего, уже не принадлежало ему.

Стараясь забыться, он вспоминал проведенные в Севастополе детство и юность, окопы империалистической и гражданской, службу в штабе Добровольческой армии и свою разведывательную работу. Но о чем бы ни думал Кольцов, одна и та же неотступная, тревожная мысль не давала ему покоя: имел ли он право на шаг, определивший не просто дальнейшую человеческую судьбу Павла Кольцова, но судьбу тщательно законспирированного разведчика, с успешной деятельностью которого командование Красной армии связывало немало надежд и планов.

В той небывалой по своим масштабам, неумной страсти и жестокости войне, которую вел русский народ против самого себя, последнее и решающее слово принадлежало все-таки не качеству и мощи вооружения любой из сторон, не количеству брошенных в бой полков и дивизий – это могло лишь оттянуть развязку. Главной же силой, способной предопределить историческую закономерность победы в этой войне, была Идея. Своя – у белого движения и своя – у красного. Это они, несовместимые, как полюса магнита, Идеи, сошлись на бескрайнем поле брани, увлекая за собой миллионы людей, чтобы уничтожить одну и возвеличить другую.

В ту памятную ночь, когда советоваться Кольцову, кроме своей совести, было не с кем, он размышлял: эшелон уничтоженных танков – это спасение Москвы, это шаг для дальнейшей борьбы сотен и тысяч красных бойцов! А совесть заставляла возражать самому себе: а что, если красный разведчик Павел Кольцов предназначался для более важного дела?

Знать бы, как разворачиваются события на фронте, ему было бы легче. Однако ни в тюремный госпиталь, ни тем более сюда, в подземелье, вести извне не пробивались – ни хорошие, ни плохие. Брошенный в каменный мешок, он был наглухо отрезан от остального мира – еще живой, но навсегда для этого мира потерянный.

На допросы Павла не возили.

Несколько раз появлялся в камере полковник Щукин, сопровождаемый штабс-капитаном Гордеевым.

Когда Кольцова перевели из тюремного госпиталя в тюрьму контрразведки, он готов был и к допросам, и к пыткам. Он и теперь не исключал такую возможность. Другое дело, что, зная, что Щукин сильный и умный противник, допускал: полковник достаточно хорошо разбирается в людях и способен понять, что пытки в данном случае бессмысленны.

Во время первого своего визита начальник контрразведки сухо и безжизненно, как человек, сам не верящий в смысл произносимых им слов, предложил Кольцову облегчить свою участь полным раскаянием и готовностью сотрудничать с контрразведкой. Эта попытка перевербовки была столь нелепа, что Кольцов в ответ лишь рассмеялся. Надо отдать должное и Щукину: он и сам понимал, видимо, нелепость ситуации, ибо, исполнив то, что велел ему служебный долг, больше к этой теме не возвращался.

Он вообще вел себя на удивление корректно: не угрожал пытками, не расспрашивал. Казалось, полковник, потеряв интерес к разведывательной работе Кольцова, видел теперь в нем лишь идейного противника и хотел доказать во что бы то ни стало, что будущее принадлежит их России, белой.

Что ж, от разговоров Кольцов не уклонялся, он вполне мог их себе позволить. Дебаты на общеполитические темы хоть как-то скрашивали одиночество, да и мозг, надолго лишенный активной работы, сохранял остроту мышления.

Не совсем понимая, зачем полковнику нужны разговоры «вокруг да около», Кольцов достаточно хорошо понимал другое: завзятый службист Щукин, о работоспособности которого в штабе Добровольческой армии знали все, зря терять дорогое время не станет. Начальник контрразведки, проявляя, воистину паучье терпение, вел с ним какую-то игру, и надо было в этом разобраться, чтобы потом, когда полковник раскроет наконец свои карты, не запутаться в искусно сплетенной паутине.

Нет, корректность Щукина не могла обмануть Кольцова. Уже хотя бы потому, что из всех солдат, офицеров и генералов белой армии, которых можно было бы назвать просто врагами, этот сухощавый, с пронзительными глазами и аккуратной бородкой клинышком человек был ему врагом втройне. Помимо принадлежности к разным лагерям, помимо естественной ненависти между контрразведчиком и чекистом, стояло меж ними и нечто сугубо личное – любовь единственной дочери белого полковника к разведчику-большевику. Взаимная любовь.

И в то же время Павел испытывал нечто похожее на чувство сострадания к этому преданному и любящему отцу, сильному и умному человеку, желающему выполнить родительский долг несмотря ни на что.

...Задумавшись о Тане, Кольцов, сам того не замечая, улыбнулся. И вдруг:

– Эй, вашбродь или как там тебя!.. Слышишь? – Из коридора, приоткрыв смотровое оконце в тяжелой двери, заглядывал надзиратель. Его одутловатое, сивоусое лицо было озадачено. – Ты, случаем, не спятил?

– Это почему же? – сдержанно, стараясь не спугнуть впервые заговорившего с ним надзирателя, спросил Кольцов.

– Смотрю, лежишь с открытыми глазами и улыбаешься. Сколько лет при арестантах, а такое, чтоб смертники ни с того ни с сего лыбились... Если, конечно, при своем уме. Ну а если кто спятил, тогда другое дело: тогда и смеются, и песни поют. Но больше плачут. И головой об стенку колотятся.

Этого надзирателя Кольцов выделил из других давно. В отличие от сотоварищей, поглядывающих на него как на неодушевленный, порученный им на сохранение предмет, в выцветших глазах сивоусого Кольцов замечал иногда какое-то движение мысли и недоумение. Казалось, надзиратель все время хотел спросить его о чем-то и не решался. А теперь вот заговорил...

Кольцов сел, улыбнулся:

– Смеяться мне пока не над чем, но и плакать не буду. Я вообще, как ты, наверное, заметил, человек спокойный.

– Поначалу все вы спокойные. Потому как душе живой-здоровой в близкую погибель поверить трудно. Допрежь с мыслью этой свыкнуться надо. Зато потом... Тут недавно в камере твоей один бандит обитал. Мужчина – не в пример тебе: росту огромного, силища бугаиная, злости на волчью стаю хватит.

– Бандит – в контрразведке? – искусственно, чтобы подогреть надзирателя, удивился Кольцов. – Что-то ты, служивый, путаешь.

– Да уж не путаю! Аспид этот сам-один автомобиль с большущими казенными суммами остановил, офицера и двух солдат охраны прихлопнул, а шофера только оглушил. Тот его и опознал потом. Да я не об том, ты дальше слушай. Схватить его, положим, схватили, а сумм казенных нет. Другие, говорит, мазурики меня пограбили. Сколько ни бились – нету! Сами их благородие штабс-капитан Гордеев на всех допросах фиаску потерпели. А уж они... Бандит этот, дожидаясь его благородия, загодя выть начинал. А потом такое избавление себе от страшных мук придумал: с разбегу – в стену башкой. Ну и – со святыми упокой. – На одутловатом, втиснутом в квадратное окошко лице промелькнуло, как почудилось Кольцову, лукавство. – Так и не дождался, страдалец, когда на шею веревку наденут.

– Занятную ты историю рассказал, – подумав, произнес Кольцов. – Не понимаю только – зачем?

– Да все для того же: тебя-то головой об стенку не тянет? – бесхитростно спросил надзиратель. – Я замечаю: их благородие штабс-капитан Гордеев шибко тобой интересуются. А ежели они, сам знаешь, человеком заинтересуются, тому долго не жить.

Гордеев... Неизменно являясь сюда с полковником Шукиным, штабс-капитан не принимал участия в разговорах. Сидел в углу камеры на принесенном охранником табурете, осторожно приглаживал набриолиненные, с безукоризненным пробором волосы и, шуря водянистые, глубоко запавшие глаза, чему-то усмехался.

О штабс-капитане даже среди контрразведчиков, не слишком обремененных человеческими добродетелями, шла дурная слава. У всех у них руки были, что называется, по локоть в крови. Но даже они, ставшие палачами по долгу службы, считали штабс-капитана палачом по призванию – редко кто из допрашиваемых им оставался в живых.

Чем объяснить его присутствие здесь? Может, Шукин, посвятив штабс-капитана в цели затейной с Кольцовым игры, давал подручному наглядные уроки? Не исключено... Хотя скорее присутствие здесь Гордеева должно было устрашить Кольцова, постоянно напоминать, что корректные разговоры в любой момент могут уступить место допросам с пристрастием.

Каждый раз, когда полковник Шукин покидал камеру, штабс-капитан пропускал его вперед, а сам, немного задержавшись, устремлял на Кольцова ласковый взгляд, будто раздумывая: уйти ему или остаться? Не исключено, что однажды Гордеев все-таки останется.

Бессмысленно, впрочем, гадать, что придумают и предпримут противники: у них и логика своя, и принципы, и методы. Надо быть готовым ко всему и бороться до конца.

– Молчишь? – нарушив паузу, спросил надзиратель. – За жизнь всяк цепляется. Но если не жизнь у тебя, а мука лютая, сам смерть искать станешь.

– Вот тут ты, положим, врешь, – усмехнулся Кольцов. – Такого удовольствия я никому из вас не доставлю. – И, пристально поглядев на надзирателя, в упор спросил: – А может, скажешь, к чему все эти разговоры ведешь?

– Как бы тебе объяснить? Хочу понять, чем вы, большаки, от бандитов отличаетесь?

– Надо же! – покачал головой Кольцов. – Два года советской власти, пол-России под красным флагом, а ты до сих пор ничего понять не можешь?

– Ошибиться не хочется, – простодушно сказал надзиратель. – У меня детей орава, младший еще пешком под стол ходит, мне не все равно, при какой им власти жить. Теперь рассуди. Бандит, он ради выгоды своей на любое злодейство идет, но при том отдельных людей грабит. А вы всю Россию ограбили. Люди веками добро наживали, от отца к сыну. А вы... Профукаете все, что у буржуев забрали, кого дальше грабить будете? Да уж не мировой капитал – тот вам быстро ряшку на сторону свернет! За свой же народ, который вроде облагодетельствовать хотите, приметесь. Так зачем было всю эту кутерьму кровавую затевать? Эх, люди-человеки... История извечная: за место у корыта с похлебкой свара. Вам, большакам, власть нужна, вот и развели смуту, растравили народ посулами сладкими. До того, что брат на брата пошел! Нет, не будет из этого толку: на той кровянице, которой Россия залита, добро не произрастет.

– А ты, оказывается, философ... – Кольцов вздохнул, покачал головой. – Только философия твоя, извини, глупая... Вот ты заладил: большевики, большевики!.. Думаешь, Красная армия из одних большевиков состоит? Ошибаешься. На сотню красноармейцев в лучшем случае один большевик. Какая же причина, по-твоему, заставляет остальных драться с белыми, себя не жалея? Не задумывался? А за какие такие коврижки, ради какой личной выгоды я в этой камере оказался – не думал? Ну, так подумай. Полезно.

– Вот-вот! – сказал, словно пожаловался, надзиратель. – Я к тебе с первого дня присматриваюсь. И о том, что ты сказал сейчас, постоянно думаю: да что ж оно такое человека на верную погибель принудило? Или вот: у тебя впереди аж ничегошеньки, а ты лежишь и улыбаешься... Или на самом деле ничего не боишься?

– Да как сказать... Боюсь, конечно. Умирать не хочу. А спокоен, потому что знаю: не зря! – Кольцов помолчал. Пристально вглядываясь в глаза надзирателя, с надеждой спросил о том, что томило и волновало его все эти дни: – Где нынче линия фронта проходит, скажешь?

И сразу, мгновенно с лица надзирателя все человеческое: тупой, ни в чем сомнений не ведающий служака снова был перед Кольцовым.

– Не положено! – отрубил надзиратель. – Их высокородию полковнику Шукину вредные вопросы свои задавай... – Оконце с треском захлопнулось.

– Ну-ну! – погромче, чувствуя, что надзиратель все еще остается у двери, сказал Кольцов. – Смотри не ошибись только!

– В чем? – раздалось из-за двери.

– Как бы не очутиться тебе на моем месте.

– Уж как-нибудь пронесет!

Оконце медленно приподнялось. Заглядывая в него и как ни в чем не бывало улыбаясь, надзиратель снисходительно произнес:

– Каких чинов ты у своих достиг, не ведаю, а кем при его превосходительстве Ковалевском состоял, про то весь Харьков наслышан. Так что не можешь не знать: мы, надзиратели, завсегда по эту сторону двери остаемся. При всех властях! – И сердито добавил: – Да спи ты, ну тебя к лешему! Заморочил мне голову совсем своими разговорами... Спи, ночь на исходе.

Укладываясь на топчан, Кольцов подумал: нет, это совсем не плохо, что надзиратель-молчальник заговорил! Если подобрать к нему ключик, склонить на свою сторону... И невесело про себя усмехнулся: эх куда занесло!

Однако слабая искорка-надежда распяляла мозг. Такое состояние вполне естественно для человека, успевшего поверить, что путей к спасению нет и быть не может.

## Глава вторая

После первых, ранних и продолжительных заморозков в Таганрог вновь пришла теплынь. Зачастили дожди, затяжные, осенние. Городские дороги раскисли. Из-под досок старых, давно не ремонтируемых тротуаров при ходьбе выплескивались фонтанчики жидкой грязи. Откуда-то налетели, вычернили верхушки пирамидальных тополей стаи воронья, и теперь висело с утра до вечера над городом резкое карканье – какое-то зловещее торжество слышалось в нем. Даже звонницы всех двадцати таганрогских храмов, дружно созывая прихожан к заутрене, не могли заглушить мерзкий этот ор.

Странная судьба была у Таганрога! Начатый с укрепления, заложенного по воле Петра Великого и названного «Острог, что на Таган-Роге», он исчезал с лица земли, появлялся опять, переходил во владение турок, возвращался в Россию, рос, развивался, бывал отмечен монаршим вниманием, но за два с четвертью века так в губернские города и не вышел – пребывал в звании окружного города войска Донского.

Когда стало известно, что главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал Деникин переносит в Таганрог свою ставку, многим показалось, что это сама судьба улыбнулась городу. Однако небывалое нашествие военного штабного люда, привыкшего жить удобно, тепло и сытно, ничего, кроме бесконечного ущерба и нервных хлопот, таганрожцам не принесло. То, что на расстоянии чудилось доброй улыбкой судьбы, при близком знакомстве обернулось насмешкой.

На Петровской – центральной и, безусловно, лучшей улице города, пролегающей через весь Таганрог от вокзала до маяка на высоком берегу Азовского моря, – теперь стали фланировать прапорщики, поручики, капитаны, полковники... Выделялись независимо-горделивым видом «цветные» – офицеры именных полков, прозванные так за разноцветные верха фуражек: корниловцы, марковцы, семеновцы, дроздовцы, алексеевцы. Казалось бы, что делать им вдали от фронта, где истекали кровью их полки и дивизии? А ведь каждый если и не состоял при каком-то деле, так несомненно за ним числился, потому и вышагивал по Петровской без тени смущения или хотя бы озабоченности на лице. Обычные армейские офицеры торопились уступить «цветным», красе и гордости белого стана, дорогу. Какой-нибудь офицер-окопник, да еще из «химических» (нижний чин, получивший за храбрость производство на фронте и щеголяющий за неимением настоящих погон в нарисованных химическим карандашом), посланный в Таганрог из действующей армии, попадая на Петровскую, сначала лишь оторопело крутил головой, а потом, вконец ошалев от такого великолепия, торопился поскорее отсюда убраться. Да и то: не суйся с кирзовой мордой в хромовый ряд! Что ж до нижних чинов – солдат, унтер-офицеров, фельдфебелей, – так эти и вовсе старались обойти Петровскую стороной.

Не все, впрочем. Вот, например, десяток верховых казаков, вырвавшись откуда-то, беззаботно толкли копытами коней грязь на мостовой и в ус, что называется, не дули. Никто из них чином выше вахмистрского не обладал, но чувствовали себя казаки среди разливанного золотопогонного моря более чем уверенно: громко переговаривались, пересмеивались и в упор проходящих офицеров не замечали – ни армейских, ни добровольческих, ни родных казачьих. Со стороны, беспомощно выставив перед собой руку, взирал с немим укором на такую непотребность бронзовый император Александр I, облаченный в римскую тогу, из-под которой кокетливо выглядывала генеральская эполета. Император, прибывший в Таганрог почти век назад для поправления здоровья супруги и внезапно сам от неизвестной болезни умерший, не мог, понятно, знать то, что хорошо знали господа офицеры вооруженных сил Юга России: это не просто служивый казачий люд, это – личная охрана генерала Шкуро! На руках черкесок были изображены оскаленные волчьи пасти, с бунчуков свисали волчьи хвосты. Рискнувшему тронуть «волков» не было спасения на грешной земле: вседозволенность отличала не только

атамана, но и его подчиненных. К тому же отчаянная их лихость не была показной: умели шкуровцы виртуозно грабить, но умели и воевать. При случае с шашками наголо, вгоняя противника в озноб протяжным волчьим завыванием, ходили на пулеметы. . .

Вскоре после прибытия Деникина в Таганрог отдельным вагоном был доставлен в ставку тот, кому в заранее разработанном плане предстоящих по случаю взятия Москвы торжеств отводилась весьма немаловажная и почетная роль: белый конь арабской породы знаменитого Деркульского племенного завода. Под малиновый перезвон всех сорока сороков церковью Первопрестольной Деникин собирался на белом коне по кличке Алмаз въехать в Москву.

Главкомандующий считал необходимым поближе познакомиться с Алмазом. Прекрасный в прошлом наездник, он знал: норовистый и гордый скакун должен привыкнуть к новому владельцу. Да и самому нелишне было изучить характер и повадки Алмаза, чтобы в ответственный в истории российской момент быть за него спокойным.

Каждое утро, к взаимному удовольствию и пользе, Деникин совершал на Алмазе короткую получасовую прогулку. От заведенной привычки он не отступал ни в лучшие дни наступления, ни теперь, когда наступление, по существу, прекратилось. Пожалуй, то была уже не просто полезная привычка, а нечто большее – укрепляющий ослабленную веру ритуал. Деникин надеялся, что сам факт их с Алмазом ежеутреннего появления на улицах города вносит в души встревоженных неудачами людей успокоение.

Он не отказался от традиционной прогулки и в то раннее утро, когда красные вернули Орел.

Сжимая зубы, скрывая от всех разочарование и тревогу, он садился в седло во все последующие дни.

И сегодня, несмотря на то, что чувствовал себя неважно – бросало в жар, появился насморк, – он приказал седлать Алмаза. В отведенное раз и навсегда время, минута в минуту. Невнимательно отвечая на приветствия штабных офицеров – господи, сколько развелось их в ставке, с каким озабоченным и чрезвычайно ответственным видом снуют они из кабинета в кабинет с никчемными бумажками в руках! – Деникин направлялся полутемными коридорами к выходу во внутренний двор. Перед тем как свернуть в небольшой вестибюль, остановился, чтобы достать носовой платок.

Утирая влажное лицо, слышал, как хлопнула дверь и кто-то ломким, юношеским баском произнес:

– Эх, и хорош же араб у «пресимпатичного носорога»! Вот уж действительно – полцарства за коня!

– Так в чем дело? – насмешливо ответил кто-то другой – тоже молодым, но тонким и донельзя противным голосом. – Предложи «царю Антону» обмен, он ухватится: похоже, Москвы нам не видать, значит, и Алмаз больше не нужен.

Деникин замер. То, что в армии его называли и «пресимпатичным носорогом», и «царем Антоном», для Деникина не было тайной. Но чтобы вот так, с откровенной и злой насмешкой, не веря в святая святых – удачу белого движения, направленного на освобождение страдающей под игом большевиков России!..

Уже не простудный – гневный жар опалил лицо.

А ведь глупее ситуацию и придумать было бы трудно. Хоть поворачивайся и бегом отсюда беги: не хватало еще, чтобы сосунки эти увидели его! Услышав из вестибюля шаги, он понял, что встречи не избежать, и сам поторопился выйти навстречу.

Даже жалко дураков стало: вытянулись, лица багровые, пальцы рук, брошенные к фуражкам с белым верхом – марковцы! – дрожат. А в глазах мучительный, лихорадочный страх: слышал или не слышал?! Подпоручики, щенки! Любопытно, который из них с писклявым голосом? Должно быть, тот – худой и длинный. От страха редкие кошачьи усы под носом дыбом встали. На кого-то похож, мерзавец... Ну да, на барона Врангеля.

Ишь как разобрало! Нашкодили и замерли истуканами перед главнокомандующим, ждут немедленной и суровой кары.

Та пауза, на протяжении которой генерал Деникин, не останавливаясь даже, а лишь придерживав шаг, смотрел на подпоручиков, показалась им, наверное, вечностью. Но длилась она все-таки секунду-две, не больше. А потом Деникин равнодушно отвернулся и пошел дальше. Спиной видел, как с изумлением, недоверчиво переглянулись марковцы: пронесло!

Нетерпеливо, желая поскорее забыть неприятный этот эпизод, Деникин толкнул дверь на улицу.

Утро нового дня выдалось необыкновенно хмурым, словно заранее предупреждало, что радостей и сегодня ждать нечего.

Едва он переступил порог, рядом будто из-под земли вырос стройный молчаливый ротмистр – начальник личной охраны.

– Что это вы целую кавалькаду отрядили вчера за мной? Ведь неоднократно говорилось: три человека, не более! – И только теперь, услышав свой недовольный, ворчливый голос, Деникин понял, что настроение окончательно испорчено: глупая болтовня марковцев задела, оказывается, сильнее, чем думалось вначале.

В центре двора нетерпеливо перебирал изящными ногами Алмаз, весело косил выпуклым чистым глазом на бредущего к нему хозяина. Двое конюхов придерживали коня за узду, третий, готовый помочь генералу сесть в седло, держал стремя.

Деникин механически нащупал в кармане припасенный сахар, поднес его на ладони к мягким лошадиным губам, ласково похлопал по крепкой и вместе с тем необыкновенно грациозной шее.

Исподлобья обвел взглядом почтительно притихших, ожидающих, когда он соблаговолит сесть в седло, конюхов и конвойцев, взглянул на ротмистра и подоспевшего к генеральскому выезду адъютанта... Вполне обычные, давно знакомые лица, которые он привык почти не замечать. А сегодня что-то явно читалось в глазах – глубоко запрятанная насмешка?

– Что? – резко спросил Деникин ротмистра. – Вы, кажется, хотели что-то сказать?

– Так точно, ваше превосходительство! Приказ ваш относительно трех человек охраны выполнить не могу. Я отвечаю за вашу безопасность и прошу понять меня правильно...

– Можете не продолжать, – перебил Деникин. – Я нынче нездоров, не поеду.

Знал, уже твердо и окончательно решил: ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Разве что когда-нибудь потом, если Господь благословит на победу, вернет изменчивое военное счастье...

Ничего этого и никому он, разумеется, объяснять не собирался. Сказал что сказал – и довольно, хватит. Но когда на прощание бережно гладил сухую и умную морду Алмаза, невольно вырвался обращенный к конюхам наказ, из которого многое понять можно было:

– Алмаза не обижайте! И вообще... э-э-э... берегите. – Чрезвычайно недовольный собой, круто повернулся и пошел назад в штаб.

Сзади раздалось короткое ржание: Алмаз, недоумевая, окликал его. Ах ты, Господи! Вот истинно благородное, честное, преданное существо. Это тебе не люди – от них ничего, кроме черной неблагодарности, не дождешься.

Приказав дежурному адъютанту без особой на то необходимости не беспокоить его, Деникин прошел в сумрачный кабинет, разделся. Следовало, бы, наверное, прилечь, принять аспирин, а может, и вздремнуть, пока в штабе относительно тихо, пока командующие его наполовину обескровленных, разбросанных по российским просторам армий знакомятся с изменившейся за ночь обстановкой, отдают командирам частей и соединений срочные умные или глупые распоряжения и вырабатывают со своими штабистами планы на очередной, еще один день войны. Где-то через час начнется всенепременная суета – полетят в ставку доклады экстренные, требующие немедленного ответа телеграммы и донесения, командующие будут вызы-

вать его для разговоров по прямому проводу и все как один требовать: резервов, резервов, резервов!..

Надо бы прилечь, надо. Да только какой уж тут сон!

Что произошло, что случилось? Почему вся летне-осенняя кампания, имевшая столь великолепное начало, многообещающее развитие, не получила и уже вряд ли получит достойное завершение?

В соответствии с директивой главнокомандующего вооруженными силами Юга России 12 сентября 1919 года Добровольческая, Кавказская и Донская армии перешли в общее наступление по всему фронту – от румынской границы до Волги. Цель у всех была одна – Москва.

Тщательно спланированная операция имела прекрасное обеспечение. Что ни день ложились на стол Деникина штабные сводки о прибытии в черноморские порты французских, английских, американских транспортов. К началу похода на Москву его армии получили от союзников тысячу артиллерийских орудий, пять тысяч пулеметов, более трехсот тысяч винтовок, сотню с лишним танков, огромный запас боеприпасов для всех видов оружия, тысячи и тысячи комплектов обмундирования, несметные тонны продовольствия...

С началом наступления военные поставки не прекращались. Но далеко не все из поставляемого союзниками добра доходило до фронта: что-то безнадежно портилось саботажниками-рабочими при выгрузке, что-то улетучивалось из пакгаузов, что-то расхищалось или гибло при транспортировке. Всякое известие об этом приводило Деникина в ярость. Торговцы, промышленники, тыловые герои, били себя в грудь, клялись в верности России, все хотели стать Миниными и Пожарскими, а сами норовили содрать процент побольше, слямзить, фукнуть, слимонить, стибрить, спроворить...

А уж когда был уничтожен направленный на усиление Добровольческой армии Ковалевского состав с танками, когда выяснилось – как и кем, он, Деникин, на некоторое время даже дар речи потерял. Пригреть в адъютантах красного лазутчика, предоставив ему возможность снабжать свое командование секретнейшими сведениями, позволив ему сгубить десятки так необходимых армии танков, – это, пожалуй, и не ротозейство уже, а нечто иное!

Кто же прошляпил Кольцова? Ковалевский ни при чем. Здесь вина прежде всего начальника контрразведки Добровольческой армии полковника Шукина. Ладно, с ним разбираются. А вот с Ковалевским надо что-то решать. Надо вывести его из состояния затянувшейся прострации, пока он окончательно не потерял управление войсками. В последнее время Ковалевский запил. Конечно, пьяный проспится, дурак никогда. Чисто по-человечески его можно если не понять, так хотя бы пожалеть. Но умей же держать себя, черт возьми, в руках! Боевой, заслуженный генерал, а ведет себя, как забеременевшая гимназистка. До того дошло, что в ставке начали поговаривать: выдохся Ковалевский, не тянет – на посту командующего Добровольческой армией нужен другой человек!

Нет, господа! Ковалевский еще послужит. Повеюет за Отечество. Он по крайней мере прямодушен и честен, козней не строит. В Великую войну на пулеметы, командуя дивизией, в первых рядах ходил.

Ну что за русская болезнь – интриганство, завистничество! Они, кажется, самозарождаются, как фруктовые мушки, возле каждой крупной личности. Даже такой боевой, родовитый генерал, как Врангель, и тот лихо, на всем скаку пошел против благодетеля своего, Антона Ивановича. Воистину, всякое добро наказуемо! В белом движении Врангель был одним из «опоздавших». Униженно просил Деникина доверить ему хотя бы эскадрон – это он-то, боевой генерал, барон, командовавший в Великую кавалерийским корпусом!

Не эскадрон и не полк получил Врангель – дивизию! А затем и армию. За бои на Северном Кавказе приказом Деникина произведен в генерал-лейтенанты, всячески отмечен.

Но, познакомившись с «Московской директивой», Врангель во всеуслышание заявил: «Это смертный приговор армиям Юга России. Стратегия Деникина ошибочна: он строит зда-

ние на песке. Захватывает огромную территорию, а удержать ее будет нечем: войск мало, резервов нет».

Потом, когда армия победоносно пошла вперед, Врангель не вполне утих, все еще говорил о более правильном направлении на восток, на соединение с Колчаком, создании единого кулака.

Неужели он окажется прав? И его высказывания – не интрига, а стратегическое предвидение?

Не все, конечно, получалось, как задумывалось. Сюрпризом, и довольно неприятным, явилось упорное сопротивление войск Южного фронта красных, сумевших остановить продвижение Кавказской и Донской армий. Зато Добровольческая армия, выдвинув вперед 1-й корпус генерала Кутепова, безудержно рвалась дальше. Под натиском добровольцев пал Курск, на очереди были Орел и Тула, а уж там и до Первопрестольной рукой подать. Сомнений в скором взятии Москвы еще и потому не оставалось, что в это же время ударил по Петрограду генерал Юденич, на востоке перешел в контрнаступление адмирал Колчак. Потом выяснилось, что того и другого ждали неудачи. Но это потом, а тогда...

Казалось, сама фортуна, дотоле мятушаяся, не знающая, какой из сторон отдать предпочтение и прекратить тем самым великую российскую смуту, определила наконец своих избранников и решительно облачилась в добровольческую шинель.

Судьба Первопрестольной казалась настолько предreshенной, что богатые промышленники уже назначали миллионные призы полкам, которые первыми войдут в нее.

Не вошли...

Более того, армии красных – разутые, раздетые, голодные – начали теснить хорошо вооруженные, возглавляемые боевыми генералами войска. Что же дальше? Неужели ничего, кроме катастрофы?

И что интересно: спрашивать не с кого – виновных нет, каждый из генералов в отдельности прав, имея ко всем остальным бесчисленные претензии. Вечно так продолжаться не может. Коль уж все сподвижники, ближайшие помощники безупречно правы, надо быть заранее готовым к тому, что однажды они соберутся и, выяснив между собой отношения, отыщут виновника всех бед – главнокомандующего, Антона Деникина, кого же еще!

Ну-ну, вот он перед вами, господа, – Антон Иванович Деникин, пятидесяти трех лет, готовый по самому высокому и строгому счету ответить за каждый из прожитых дней если и не перед вами, так перед честной своей совестью. Все, чего достиг Деникин, – не интриги, подсиживания, расшаркивания перед властью предержавшими, а результат упорного труда и таланта.

Это отпрыскам великосветских семей и знаменитых толстосумов, избравшим военную карьеру, все в их дальнейшей судьбе заранее было известно: привилегированные училища, гвардейские полки, очередное (а то и внеочередное) производство в следующий чин, гостеприимно, с помощью широчайших связей распахнутые двери академии... Глядишь, в тридцать с небольшим уже и генерал! Что ж до Антона Деникина, то ему рассчитывать было не на кого – только на ум свой, волю, трудолюбие, добропорядочность. И на искреннюю веру в Бога. «За Богом молитва, за царем служба не пропадают».

Не пропали. И отец, Иван Денисович, всей своей жизнью это тоже доказал. Был он крепостным человеком, в рекруты пошел еще до того, как Александр-Освободитель дал волю. Двадцать два года топал солдатской дорожкой Иван Денисович, кровь за Веру-Царя-Отечество проливал, за что был произведен в офицеры и получил потомственное дворянство, дослужившись до майора. Однако своим человеком среди прочих офицеров, кому звание давалось как бы походя, не стал. Не то образование, не те навыки.

Надо было продолжать труд отца. Лестничку-то Иван Денисович построил...

В Киевском пехотном училище, когда другие юнкера развлекались, Антон Деникин до головной боли штудировал уставы, учебники, наставления. И не потому, что глупее других

был, а потому, что знал: недостаток происхождения можно восполнить лишь первенством в учебе! Он и потом, когда тянул унылую лямку армейского офицера во 2-й артиллерийской бригаде, когда сослуживцы танцевали мазурки и вальсы на балах в Дворянском собрании, ухаживали за девушками на выданье, женились, радовались детишкам, – он и тогда, откинув все соблазны, не расставался с учебниками. Потому что опять помнил и знал: без академического образования настоящей карьеры не сделаешь, а в академию так просто не попадешь.

Кто не ведает, с какими это трудностями было сопряжено, тот пусть к «Поединку» господин Куприна обратится. В целом книга вредная, порочащая русское офицерство, но в таланте и знании предмета автору не откажешь: вон как вгрызлся в учебники его герой поручик Николаев – уже дважды на экзаменах срезался, а все равно стремился, ибо другого пути вырваться из нищенской гарнизонной жизни не имел.

Много лет спустя, во Франции, встретившись с Куприным, Деникин заметил как бы вскользь: «Николаев у вас хорош, да армия уж больно паскудная получилась, не так было, не так, и офицерство наше дорогого стоило. За революционной модой погнались». На что Куприн, пьяненький по обыкновению, обрюзгший, в трепаном сюртучишке (а ведь какой барин был в прежней жизни!) ответил, утирая слезинку: «Верно, верно, Антон Иванович, виноват, Бог видит, но сейчас я новый роман о Русской армии пишу, во искупление...» И написал! Прекрасный роман «Юнкера» – о замечательных традициях Русской армии, о чести, доблести офицера, о «бедной юности своей», в которой было столько романтического, чистого, ясного.

С первого захода поступил Антон Иванович в Академию Генштаба и блестяще ее окончил. На Великой войне командовал 4-й дивизией, которая вскоре получила наименование «Железной». Дивизия эта стояла там, где другие бежали. А вскоре и корпус получил, и тоже управлялся не худо.

За личную храбрость и талант военачальника удостоен самых высоких наград Российской империи. Вот тогда-то, пожалуй, впервые и столкнулся с завистниками: в глаза льстили, ласково «везунчиком» называли, а за спиной высмеивали, козни строили – не могли простить солдатскому сыну Антону Деникину, что обошел и продолжает обходить многих из них, высококордных, по службе. Даже поздней, едва ли не на старости лет, женитьбы не могли простить: еще бы, не кого-нибудь, а княгиню Горчакову, чей род шел от самого Рюрика, назвал беспородный Деникин своей избранницей...

Но не только за прошлое спокоен генерал Деникин – пусть далеко не безоблачно, но кристально чисто и настоящее его. В главнокомандующие он не рвался – покойный Лавр Георгиевич Корнилов буквально накануне безвременной гибели назвал Деникина своим преемником.

Высока честь, да несоизмеримо выше ответственность. Уж кто-кто, а он, вставая у руля белого движения, знал, что отвечает не только перед сподвижниками, подчиненными и всем ныне живущим русским народом, но и перед будущими поколениями, коим достанется в наследство или сплоченная, единая и неделимая, или – страдающая, гибнущая в большевистском хаосе Россия.

Памятуя это, нелишне было бы вспомнить и другое: а что досталось ему в наследство от «светлой памяти» генерала Корнилова? Не так уж, признаться, и много.

Белая гвардия умела храбро драться и умирать, но одной ей было бы не под силу обуздать, замирить поднятую на дыбы Россию. Нужна была армия. И он создал ее, собрал в единый кулак в труднейшей борьбе и разброде восемнадцатого года, сберег в девятнадцатом, во время летнего контрнаступления красных, чтобы потом, тонко рассчитав момент, бросить взлелеянные им войска в решающий поход на Москву...

Внешне все как будто легко и просто. Но сколько сил, нервов, унижений, наконец, стоит за этим! Наивен был бы человек, решивший, что главные тяготы войны – это борьба с красными. На фронте все как раз ясно: вот он, враг, перед тобой, одержи над ним победу или

будешь побежден сам. Нет, боевые действия – это последнее звено в цепочке, имя которой – большая политика.

Для успешного ведения войны нужны деньги, много денег. Союзники, предоставляя кредиты на приобретение боеприпасов, вооружения и всего прочего, без чего любая армия и дня не проживет, диктуют главнокомандующему вооруженными силами Юга России свои правила игры.

Союзным правительствам, а вернее, тем могущественным деловым кругам, что стоят за ними, нужны твердые гарантии, что каждый вложенный в белое движение франк, фунт или доллар вернется с процентами. А потому задолго до победы, презрев общественное мнение, делят они громогласно шкуру неубитого медведя – промышленность России и ее богатейшие сырьевые запасы. Делят, предоставляя большевикам великолепную, умело используемую возможность доказательно объяснить народу, что правительство вооруженных сил Юга России и лично он, Деникин, распродают страну оптом и в розницу. Да что взять с чужестранных политиков, банкиров, монополистов, если и свои, родные денежные тузы, от которых при всем своем желании не отмахнешься, не способны понять, что нынче на земле не благословенный девятнадцатый век и даже не предвоенное начало двадцатого, а послереволюционная бунтарская явь!

Россия – страна крестьянская. Правящее сословие, дворянство, в большинстве своем – помещики, землевладельцы. Не надо большого ума, чтобы понять: за какой из сторон пойдет в этой войне крестьянин, за той и победа будет. Большевики, эти нищие честолюбцы, не вложив и малого кирпичика в могущественное здание России, самозванно явившись сюда с пустыми карманами и коробом авантюрных идей, все рассчитали правильно: землю – крестьянам, заводы и фабрики – рабочим, кто был никем, тот станет всем...

Глупая, вздорная, обреченная на трагический финал, но более чем своевременная сказка! Еще бы темному, по-детски доверчивому и наивному народу не поверить в нее! Большевики рассудили правильно: нет ничего дешевле посулов, так что ж скупиться на них, если помогают они сесть на царствование, укрепить насильно захваченную власть, – укрепимся, а тогда и разберемся окончательно, кому и что принадлежит, за кем осталось право карать и миловать, награждать и грабить. И не хочешь, а позавидуешь их политической изворотливости!

Политика не приемлет столь эфемерных понятий, как совесть, нравственность, верность слову. Нейтрализовать большевистские сладкоголосые декреты можно было одним лишь способом: обещать народу, тем же крестьянам, еще больше, чем большевики. Ведь это же ровным счетом ни к чему не обязывает! Нет, те, в чьих руках богатства российские, кто мечтает о полной реставрации разрушенной империи, ни о чем таком и слышать не хотят. А какая, к черту, реставрация после тлетворного воздействия на массы двух революций! Тут гибкость, гибкость и еще раз гибкость нужна. Начинаящий шулер и тот знает: прежде чем ободрать как липку партнеров, уступи им, замани, не жадничая. А жизнь в нынешнем ее развитии – не карточная игра: здесь, быть может, и всерьез, без шулерских приемов, следовало бы добровольно отказаться от чего-то, дабы в итоге не потерять все. Нет, не привыкли. Выработывало, выработывало правительство вооруженных сил Юга России проект земельной реформы, да так ничего толкового крестьянам и не предложило. А мужик, как ни темен, сообразил: обещание деникинского правительства выкупить для него в туманном будущем часть помещичьих земель – пшик по сравнению с тем, что он уже получил от Советов! Мужик, этот много о себе возмнивший, способный понять истинное свое место в государстве только после хорошей порки, получил бы заслуженное потом, после победы. А пока идет война, глупо отчуждать его от себя, как оно фактически и случилось уже к лету нынешнего, девятнадцатого, года.

Но разве эта глупость – первая? последняя? одна? Кабы так! Наворотили дел, наломали дров, а кому горькие плоды пожинать? Тому, кто, зубы сцепив, отдыха не зная, тяжкий, расшатанный и скрипучий воз российский на себе тянет, – Деникину! И находятся при этом люди,

смеющиеся упрекать его, будто он узурпировал власть, в новые самодержцы рвется. Господи, какая беспросветная чушь! Что сделал Деникин совсем недавно, когда союзники, по обыкновению лучше всех «знающие», кто из русских лидеров в тот или иной момент России нужнее, предложили ему признать верховную власть адмирала Колчака, застрявшего в Сибири? Призвал не споря, хотя в это время полки Деникина, но не Колчака шли на Москву.

Возьмите, все возьмите – и власть, и последние силы, и жизнь, – только верните России покой и процветание!

Обидно.

Когда в октябре, умело закончив сосредоточение и перегруппировку сил, Красная армия перешла в контрнаступление, во всей своей неприглядной красе показали себя союзнички. Особенно – англичане. Принялись вдруг демонстративно обхаживать барона Врангеля. Отрядили целую делегацию во главе с генералом Хольманом в Царицын, где в обстановке величайшей торжественности – уж это они умеют! – вручили командующему Кавказской армией награду английского короля – орден святых Михаила и Георгия, какого даже главнокомандующий вооруженными силами Юга России не удостоен. Дело не в ущемленном самолюбии – ведь это расшатывает, раскалывает белое движение, которое он, Деникин, с таким трудом собирал вокруг себя!

Дальше – больше. Не удержал адмирал Колчак свою так называемую столицу – Омск, и тут же выплюнули телеграфы весть, способную иметь губительные для всего белого движения последствия, – заявление английского премьера Ллойд Джорджа:

«Я не могу решиться предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света, в стране, где проникшие внутрь ее чужеземные армии всегда испытывали неудачи... Я не жалею об оказанной нами помощи России, но мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне... Большевизм не может быть побежден оружием, и нам нужно прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему правления несчастной России».

Вот так! Делалось заявление вроде бы в связи с постигшей Колчака неудачей, а какие далеко идущие выводы можно сделать из него! Кое-кто склонен думать, что англичане, эти интриганы и оборотистые купцы, никогда не забывающие о своей выгоде, предусматривая худший исход в войне – победу красных, хотят в любом случае не потерять столь выгодный для себя рынок, каким всегда была и будет Россия, а потому и делают в сторону Советов реверансы. Невооруженным глазом видно – это еще и откровенный ультиматум генералу Деникину: если хочешь и впредь рассчитывать на нашу помощь, немедленно добейся перелома в войне! Тут задумаешься...

По всем законам военной науки вооруженным силам Юга России не следовало бы сейчас, захлебываясь в собственной крови, удерживать до последнего каждый город и городишко на протяжении всего огромного фронта. Правильнее было бы, осуществив организованный отход, перегруппировать войска, дать им возможность дух перевести, чтобы потом ударить стальным кулаком, прорвать растянутые боевые порядки красных. И – на Москву, на Москву, на Москву!.. Нет, нельзя. Такой отход взъярил бы союзников, подтолкнул их к принятию мер незамедлительных и заранее известных: генерал Деникин не оправдал возлагаемых на него надежд – генерал Деникин должен уйти!

Может, и впрямь самому, не ожидая, когда тебе предпочтут другого, уйти?

Уйти не шутка, а на кого оставишь армию, всех, кто шел с тобой почти два года и не утратил веру в тебя? Кому доверишь ответственность за завтрашний день России? Готовому на любую аферу ради удовлетворения собственного тщеславия Врангелю? Впадающему в проstration Ковалевскому? Прямолинейному солдафону Кутепову? Кокаинисту Слащову?.. Тогда уж лучше Шкуро или Мамонтову – по крайней мере эти мародеры, прежде чем окончательно

потерять Россию, так разграбят, разрушат, распнут ее, что потом долго-долго придется сообщать большевикам, как вдохнуть жизнь в окровавленную, испепеленную пустыню.

«Вот! – думал Деникин. – Вот первопричина всех неудач: не на кого опереться, никому до конца верить нельзя!»

Он тяжело поднялся, прошелся по кабинету, остановился у окна, выходящего на Иерусалимскую площадь. И сразу бросились в глаза «волки» – конвойцы Шкуро, – раз эти здесь, значит, где-то рядом и атаман их...

Вчера генерал Шкуро явился незвано-непрощено в ставку: отшвырнул адъютанта, посмеявшегося сказать, что главнокомандующий занят, ворвался в кабинет.

– Батька! – возмущенно закричал он с порога, размахивая, как крыльями, широченными рукавами черкески. – Что ж это делается, батька?! Прикажи умереть – умру! А последнюю кровь из меня высасывать не дам!

Столь вольное, неуставное обращение не удивило Деникина: так уж повелось между ними, что Шкуро называл его на свой бандитский лад батькой, а он Шкуро – по имени.

– Кто же он, этот вампир? – шутливо, как обиженного ребенка, спросил Деникин, тайно вздыхая про себя, что не может сорвать с атамана генеральские погоны и отправить в тюрьму: нужен сейчас Шкуро с его «волчьими» сотнями на фронте, ох нужен! – Успокойся, Андрюша, присядь и объяснись. Так кто он, твой обидчик?

– Ковалевский! Твой любимец! Нет, батька, ты послушай, чего этот чистоплюй удумал! «Дроздов» своих – в тыл, а казаков моих спешить – и на их место, в окопы! А?! Да за такое...

– Это временная и совершенно необходимая мера, Андрюша, – примирительно сказал Деникин, не объясняя, что генерал Ковалевский действовал с его ведома. – Дроздовская дивизия совершенно обескровлена, в полках – по двести, а то и меньше человек. Если ее срочно не переформировать, дивизия прекратит свое существование. А этого допустить, сам понимаешь, нельзя.

Шкуро потрянул рыжим чубом, обиженно вскинул голову с курносым носом-кнопкой на круглом лице:

– «Дроздов» жалко, всех других добровольцев жалко, а казаков что ж жалеть: взамен зря побитых бабы еще нарожают! Так у нас всегда было. Добровольцам – новое, вне сроков, обмундирование, кусок пожирней-послаще. А мои казуни... Неделями на сухарях сидят, в рванье ходят. Зато как где запахло паленым, туда и нас. Но кому такой расклад понравится? – Уронил на грудь голову, сбылчился и, печально на Деникина круглыми глазками глядя, продолжал: – Я чего боюсь, батька. Что за народ у меня в корпусе, ты хорошо знаешь. Ох, отчаянные! Воевать – пожалуйста. А вот чтобы из них пехтуру делали... Вот чего я боюсь, батька: плюнут они на те окопы – и поминай как звали! Откроют фронт красным. И я их, мерзавцев, не удержу. Представляешь, что будет? Ты в своих тылах с махновцами разобраться не можешь, а мои аспиды, эти еще и почище махновцев будут, если им на хвост наступить. Волки, что с них возьмешь!

Но наипервейшим мерзавцем, матерым волком был, конечно, сам Шкуро; без малейшего стеснения, в открытую угрожал главнокомандующему и одновременно подсказывал выход: откупись. По всем статьям и законам его бы, подлеца, надлежало без промедления вздернуть на людной площади, ан нет, пришлось распоясавшегося Андрюшу уговаривать, увещевать, просить незамедлительно вернуться на фронт, обещать дополнительные поставки обмундирования и продовольствия, почти наверняка зная, что лишь малая часть добра до рядовых казаков дойдет, а остальное будет пропито в кабаках Харькова, Екатеринодара или Ростова... Да, впрочем, судя по его конвойцам на площади, уже и здесь, в Таганроге, пропивается. А ведь дал вчера слово, что немедленно отправится на фронт...

Деникин отвернулся от окна, прошел к небольшому, в резной рамке на стене зеркалу. Сдал, сдал, батенька! И весьма изрядно: лицо одутловатое, глаза погасшие, даже серебристые

усы и бородка словно потускнели. Не главнокомандующий, а какой-то акцизный старичок чиновник в генеральском мундире.

Покосился на широкий кожаный диван: хорошо бы прилечь, вздремнуть... Да уж тут вздремнешь! Отдохнул немного, отвлекся ненадолго, и на том спасибо. И дальше терпеливо неси свой крест...

## Глава третья

В самом конце октября девятнадцатого года над степями под Курском задули холодные ветры, загуляли метели. Местные жители знали, что такая ранняя зима ненадолго, что еще вернется осень. Подобное случается едва ли не каждый год.

У Курска сопротивление белых возросло: Ковалевский еще надеялся переломить ход событий и бросал в бой последние свои резервы. Но Курск пал, и впереди 9-й дивизии красных уже замаячили занесенные снегами пригороды Белгорода.

Ночью красноармейцы 78-го полка 9-й дивизии захватили в плен конный вражеский разъезд. Неточно сориентировавшись в ночной снежной круговерти, белогвардейские дозорные проскочили мимо своих зарывшихся в сугробы постов, сбились с пути и теперь рыскали по степи, пытаясь набрести хоть на какое-то жильё, чтобы расспросить, как найти дорогу к своим.

Ночью на снегу всадники были видны далеко. Красноармейцы выждали, когда они минуют их неудобные, продуваемые всеми ветрами засидки и углубятся в передовые порядки полка, после чего скомандовали:

– Стой! Слезай с коней! Руки вверх!

Взмыла вверх и повисла над степью ракета, осветив снега холодным мертвенным светом.

Несколько всадников, резко осадив коней, развернулись и дали шенкеля. Но тут же под выстрелами свалились в снег. Остальные сбились в кучу, подняли руки.

Когда пленных обезоружили, один из офицеров обратился к стоящему рядом красноармейцу:

– Солдатик, скажи командиру, пусть доставят меня в штаб. Имею интересующую ваше командование новость.

– Говори! – твердо приказал красноармеец Стрижаков. – Может, ты хочешь сбрехать, чтоб шкуру свою спасти, а я командира от дел буду отрывать?

– Не могу! Секрет!

Стрижаков отыскал командира эскадрона, доложил. Командир задумчиво сказал:

– Может, и брешет. Не исключено. А может, и нет. В душу его белогвардейскую не заглянешь. – И вынес решение; – Бери, Стрижаков, еще кого себе в подмогу и вези его к комдиву. Он головастый.

К вечеру Стрижаков со своим товарищем Приходько доставили пленного на станцию Кустарная, где временно размещался штаб дивизии.

Начдива Солодухина в штабе они не застали. Пленным заинтересовался военком дивизии Восков. На допросе пленный изложил военкому свою новость. Сказал, что до недавнего времени работал старшим квартирмейстером при штабе Добровольческой армии и поэтому посвящен в некоторые штабные секреты. Так вот, несколько дней назад там был разоблачен, как красный шпион, старший адъютант генерала Ковалевского капитан Кольцов. Если капитан действительно красный шпион, то сообщение о его судьбе должно заинтересовать соответствующие ведомства красных.

О дальнейшей судьбе Кольцова пленный ничего не знал, но предполагал, что его расстреляли.

Восков никогда прежде не слышал о Кольцове, и новость эта не слишком его взволновала. Война есть война. Кого-то убивают, кто-то проваливается. Но на всякий случай он передал доставленное пленным известие по телеграфу во Всеукраинскую чрезвычайную комиссию. Подумал, что к этому ведомству красный разведчик, возможно, имел какое-то отношение.

Первый, еще несмелый, предзимний снег выбелил улицы и крыши домов. И без того небольшой, в основном одноэтажный городок Новозыбков будто съезжился, стал еще меньше, приземистее.

В аккуратном, словно игрушечном, особняке с коротким рядом окон, выходящих на Соборную площадь, бодрствовали круглые сутки: здесь располагалась Всеукраинская ЧК.

В своей беспокойной жизни бывший профессиональный революционер, а ныне начальник Особого отдела ВУЧК – Петр Тимофеевич Фролов знал немало тяжелых дней. Дни полнейшего неведения о судьбе разведывательной чекистской группы Кольцова стали для него одними из самых черных.

Сигнал тревоги прозвучал, когда из Харькова, а вернее, из штаба Добровольческой армии перестала поступать информация, так необходимая командованию красных войск, оттесненных белыми едва ли не к самой Москве. Донесений Кольцова не было в назначенные для связи сроки, не было и в последний – контрольный срок, не было и потом, когда все мыслимые и немыслимые сроки прошли.

Постепенно через пленных офицеров Добрармии начали просачиваться не очень внятные слухи об уничтоженных английских танках, об измене и заговоре в штабе Ковалевского, о бывшем его адъютанте-лазутчике, то ли погибшем при столкновении поездов, то ли убитом в перестрелке с контрразведчиками, то ли все-таки ими схваченном...

Трудно было понять, что здесь правда, а что вымысел, порожденный извечной, близкой к ненависти завистью офицеров-окопников к офицерам-штабистам. Ситуация более или менее прояснилась, лишь когда у одного из пленных офицеров была обнаружена газета Добровольческой армии, в которой сообщалось, что контрразведкой разоблачен и взят под стражу старший адъютант командующего капитан Кольцов, обвиняемый в измене Отчизне и белому движению, что по его делу ведется следствие.

Тогда и состоялся между Фроловым и председателем ВУЧК Мартином Яновичем Лацисом довольно жаркий разговор.

Фролов считал, что ему необходимо идти в Харьков и, во-первых, разобраться в сложившейся там после ареста Кольцова обстановке, во-вторых, срочно наладить надежную разведработу в тылу белых. Наконец, только там он мог выяснить, есть ли возможность помочь Кольцову.

План действий Лацис принимал и разделял. Но против намерения Фролова самому идти за линию фронта возражал категорически, полагая, что с этим заданием справятся и другие чекисты, а у начальника Особого отдела непосредственно в ВУЧК работы предостаточно. Фактически он был прав, и все-таки...

С этим сухим, жестким, а иногда и жестоким человеком Фролов работал бок о бок не первый день, хорошо знал как сильные, так и слабые его стороны. И наверное, поэтому, несмотря на категоричность Лациса, надеялся, что в конце концов председатель ВУЧК все-таки поймет, почему в Харьков идти необходимо именно ему.

Собираясь с мыслями, Лацис какое-то время сосредоточенно смотрел в столешницу письменного стола, а потом, резко вскинув голову и обжигая Петра Тимофеевича холодом серых прищуренных глаз, сказал с характерным прибалтийским акцентом:

– По-моему, судьба Кольцова и есть основа вашего непродуманного решения. Личные отношения, товарищеский долг? Понимаю. Но есть, товарищ Фролов, другое. То, что выше наших с вами личных привязанностей, чувств и прочего. Это – долг перед революцией. Да! Перед революцией, которую нам с вами поручено защищать! На этом наш разговор закончим. Готовьте группу для срочной отправки в Харьков. Можете взять лучших наших людей – я поддержку во всем. А лично вас в Харьков не пущу.

Лацис склонился над бумагами. Принятых решений этот человек менять не любил. Но все-таки Фролов и теперь не спешил покинуть кабинет председателя ВУЧК.

Раздумывая над словами Лациса, он чувствовал себя неуютно.

Большинство людей его поколения, революционеров, прошедших путь подпольщиков, знающих тюрьмы и ссылки, принадлежали к романтикам, которых не ожесточили страдания.

К октябрю семнадцатого почти все они пришли с желанием строить новый мир не на крови классовых противников, а на принципах добра и справедливости.

Но потом началась реальная, не построенная на книжных представлениях, борьба. Борьба не только с «классовым врагом», но и с вчерашними союзниками. Причем борьба не на жизнь, а на смерть. Фролов не хотел задумываться всерьез, что явилось причиной такой смертной борьбы, кто виноват.

Так вышло. В огромной России не находилось места для нескольких правд – за каждой партией, прослойкой, группировкой стояла своя правда.

Только одна правда могла утвердиться в России. И эта правда, по мнению многих ожесточившихся революционеров, должна была во имя своего торжества уничтожить всех, кто ее не принимал. Все словно свихнулись: «террор», «расстрел»... Даже милейший, мухи не обидевший Николай Иванович Бухарин, любимец Ленина, скромнейший Бухарчик, кричал с трибун: «Расстрел есть средство воспитания и перевоспитания. Расстрел есть одно из средств выработки нового коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи».

Фролов не был силен в теории, как Бухарин. Он не понимал, как это можно что-либо выработать из человека, предварительно расстреляв его?

Это только клин вышибают клином. А ответным, пусть даже праведным, террором ничего, кроме встречного и еще большего насилия, не вызовешь. Террор порождает страх, ужас, поражает души миллионов и миллионов людей неверием в саму возможность для них стать когда-нибудь равноправными членами того светлого общества, ради которого делалась революция и ведется Гражданская война. Два года после революции прошло, а как много непростительных кровавых ошибок!

Да, разговор с убежденными, оголтелыми врагами Советской власти ясен, прост и короток: знал, на что идешь, так получи и не жалуйся! Но где та черта, которая отделяет убеждение от заблуждения? В суматохе огненных дней не всегда есть время и возможности различить ее. И тогда оказываются на одной доске матерый корниловец, уличенный в расстреле пленных, и мальчишка-гимназист, взятый на улице с допотопным, еще дедовским, револьвером за пазухой...

Начальник Особого отдела ВУЧК Фролов в каждом отдельном случае стремился докопаться до истины, от которой зависело главное – быть или не быть человеку. Хотя в спешке тревожного времени вряд ли и ему удалось избежать роковых ошибок. Думать об этом не хотелось – в сомнении томится дух, но и не думать было нельзя: и без того расплескивалось вокруг море преступного бездушия.

Он мог бы довольно легко успокоить себя: революция простит нам обостренную, повышенную бдительность, но не простит утраты ее! Иначе говоря, пусть лучше попадет в беспощадные жернова борьбы невинный, чем избежит их враг.

Фролов знал, что примерно так считал Лацис. То есть он не призывал к откровенному беззаконию и вряд ли поощрил бы его, но при этом скорее поддержал бы сотрудника, готового без сомнения махать карающим мечом революции, чем того, кто обнажает этот меч, лишь когда другого выхода нет. На этой почве между Фроловым и Лацисом неоднократно случались дебаты, порой весьма бурные, но мало что, к сожалению, дающие.

Разумеется, сейчас, упрямо оставаясь в кабинете председателя ВУЧК, Петр Тимофеевич столь далеко и обширно в своих раздумьях не заходил: подобные мысли прорастают не в один день и созревают не сразу. Все это было думано-передумано раньше, и подведенная Лацисом черта под их сегодняшним разговором тоже в какой-то мере итог давних разногласий. Сейчас думалось совсем о другом. Не зная всех обстоятельств случившегося, Фролов тем не менее искренне верил в то, что только он, и никто другой, смог бы там, в Харькове, хоть как-то повлиять на судьбу Кольцова.

Размышления Фролова прервал вкрадчивый скрип двери. В кабинет тихо, мягко ступая, вошел телеграфист с пучком ленты в руке. Видимо, сообщение было важное, только в этих случаях сотрудники ВУЧК имели право входить к Лацису без спроса.

Лацис оторвался от бумаг, удивленно, будто спрашивая, посмотрел на Фролова – как, вы еще здесь? – и затем обернулся к телеграфисту. Тот молча протянул Лацису ленту.

Читая, Лацис неторопливо протянул ее между пальцев, кивком головы отпустил телеграфиста. Помолчал, сосредоточенно глядя перед собой. Затем тихо сказал Фролову:

– Я уж, признаться, хотел было согласиться на вашу настойчивую просьбу. Но...

Фролов, поскучнев, откинулся на спинку стула.

– Но вам придется срочно выехать в Москву. Вызывает товарищ Дзержинский.

## Глава четвертая

Пришла очередная ночь, а вместе с ней и бессонница. Кольцов лежал на топчане, закинув руки за голову, глядя в низкий, тяжелый потолок. О сивоусом надзирателе, столь неожиданно нарушившем молчание, Кольцов старался не думать. Тем более не позволял себе думать о тех надеждах, которые пробудил в нем внезапный ночной разговор: только время способно расставить все по своим местам.

...Говорят, что на исходе отпущенного человеку срока перед глазами его проходит вся жизнь, какую он прожил, праведная или неправедная, удавшаяся или не очень. И тогда человек или благодарит свою судьбу, или проклинает.

Жаловаться на судьбу, приведшую его в камеру смертников, у Кольцова оснований не было – он сам, своею волей, распорядился собой. Но еще в тот день, когда генерал Ковалевский сообщил ему о предполагаемой отправке в Севастополь, Кольцов подумал: уж не в отместку ли за его своеволие назначила ему судьба провести конец жизни там, где четверть века назад начиналась она? А теперь, спустя почти три недели, подумал вдруг совсем иначе: может, это и не месть вовсе, не бессердечие судьбы, а прощальный и щедрый ее подарок?

Увидеть еще раз, хотя бы сквозь решетку, родной город, взглянуть на море, услышать ласковый или гневный голос его, лечь, наконец, раз уж так довелось, в землю, по которой бегал босоногим мальчишкой... – не так уж и мало для человека, вычеркнутого из жизни!

Перебирая в памяти здесь, в камере-одиночке, все свое недолгое «добровольческое» прошлое, Кольцов все чаще вспоминал о Юре. И не меньше, чем любой из удачно проведенных операций, радовался тому, что хоть чем-то сумел помочь этому мальчишке, брошенному судьбой в крутой замес кровавых событий.

Где он теперь? Где Старцевы? Сумели ли уйти от щукинской контрразведки?

В тот памятный вечер он отправил Юру к своим друзьям с запиской, которую и по сей день помнил слово в слово: «Наташа, Иван Платонович! Операция провалилась. Кто-то из наших убит. Поэтому я должен что-то предпринять. В штаб больше не вернусь. Вам тоже советую сегодня же уйти... Прошу, позаботьтесь о Юре. Ваш Павел».

Сейчас, вдумываясь в это письмо, он жалел, что из-за спешки и нечеловеческого напряжения получилось оно довольно сумбурным и вместе с тем неоправданно спокойным. Не советовать надо было, а всей своей властью и авторитетом требовать: немедленно, не теряя времени, уходите вместе с Юрой из города! Потому что хотя бы, что должен был помнить: первыми, кого начнут искать после его саморазоблачения контрразведчики, будут Платоновы (под этой фамилией Старцевы были легализованы здесь, в Харькове) – полковник Щукин знал, что Кольцов бывает в их доме. И адрес знал. И наверняка все необходимые для срочного розыска приемы: если Щукин интересовался кем-то, то основательно.

Было еще и другое, о чем жалел Кольцов. После многолетней давней дружбы, общих переживаний, риска, мечтаний и веры у него не нашлось для этих людей ни единого теплого слова! Знал ведь, что прощается с друзьями навсегда, и – не смог...

Хорошо, если Иван Платонович долголетним чутьем подпольщика понял из записки, какая опасность нависла над ними, и принял необходимые для безопасности меры... А если – нет? Что, если контрразведка уже схватила Старцевых и они сидят в соседней камере?

Полковник Щукин – враг более чем опасный: опытный, с интуицией. Буквально с первого дня знакомства с ним Кольцов постоянно ощущал на себе пристальное, недоверчивое внимание полковника. И, разумеется, ему бы следовало держаться от начальника контрразведки подальше, не напоминать лишний раз о себе, но...

«Сердцу не прикажешь». Банальное выражение, но ведь действительно так! Можно во всем ограничить себя, жить среди врагов, разделять их образ жизни – заставить себя и посту-

пать, как принято в их, чужой среде. Но даже самый сильный и трезвый человек забывает об опасности и теряет голову, когда встретит на своем пути любовь. Все вокруг остается как будто прежним, ты привычно делаешь дело, к которому приставлен, и все же это уже не ты, а совсем другой человек, ибо в тебе поселилась и незаметно растет, ширится, торжествует необыкновенное чувство – любовь. Бесполезно противиться ему, бессмысленно бежать от него, даже если не суждена взаимность. А уж если встретились, засветились восторженным светом глаза, если мысли ваши сливаются в единое русло – это настоящее счастье! И тогда никакая сила не способна помешать людям любить и чувствовать себя любимыми.

Красный разведчик Павел Кольцов полюбил дочь начальника белогвардейской контрразведки Таню Щукину. Сюжет, достойный Шекспира. Но ведь было же, было!

...Здесь, в камере, Павел часто задумывался: все ли правильно делал в жизни? В целом он имел право быть довольным собой. До того лишь момента, когда появилась Таня. Он и сейчас любил ее, а потому еще суровее, еще с большей беспощадностью признавал: не было у него права на это чувство! Трудно жить без любви, но еще труднее знать и помнить, как много страданий твоя любовь принесла дорогому человеку. Не случайно Кольцов старался думать о Тане как можно реже: изменить что-либо он не мог, а стойкое, постоянное чувство вины сильно угнетало.

С изредка навевывавшимся в его камеру Щукиным Кольцов не мог себе позволить заговорить о Тане. Ему казалось, что одно упоминание ее имени в присутствии щукинской «тени» – штабс-капитана Гордеева – будет и для полковника, и для Тани, и для него самого унижительным. Лишь однажды, когда у Щукина, по обыкновению много курившего, кончились спички и Гордеев ненадолго вышел из камеры, Кольцов, не выдержав, спросил о Тане.

– Я мог бы проигнорировать ваш вопрос, – помедлив, ответил начальник контрразведки. – И если я не делаю этого, так с одной лишь целью: чтобы вы окончательно вычеркнули мою дочь из своей памяти, как вычеркнула она вас из своего сердца. Не скрою, это далось ей нелегко, но хочу верить, что Париж, где находится теперь Таня, поможет ей окончательно забыть вас. А потому просил бы впредь уволить меня от разговоров, прямо или косвенно связанных с именем моей дочери!

Да, Павел старался не думать о Тане. Но время от времени перед глазами вдруг вставало ее лицо, и Кольцов, сам того не замечая, мечтательно улыбался. И пусть хмурился потом, жестко отчитывал себя за безволие, но где-то в груди еще долго сохранялось ощущение нежного тепла: не так уж и мало, наверное, если разобраться, для живой души, обреченной на томительное ожидание смерти.

В ночь очередного своего дежурства сивоусый надзиратель, заглянув через смотровое оконце в камеру Кольцова и обнаружив, что тот, как всегда, не спит, сказал:

– Вот ты советовал, чтоб я над разговором нашим подумал... Ну, подумал. А какой в том прок? Расстройство одно... Неужто и в самом деле жизнь к тому заворачивает, что ваша возьмет?

– Я в этом не сомневаюсь. И тебе не советую.

– Ну, положим... Но тебе-то от этого легче не станет: пока ваши, к примеру, до Харькова дойдут, ты уже трижды в землю сляжешь.

– Думаешь, это самое страшное? – Кольцов улыбнулся, опустил с топчана на пол ноги. – Меня другое мучит: какая цена будет за эту победу уплачена?

Надзиратель тяжело задумался, вздохнул:

– Должно, миллиарды и миллиарды, ежели в смысле денег.

– Нет, – покачал головой Кольцов, – в смысле крови, которую проливают в этой бессмысленной войне русские люди.

– Это как же понимать? – озадачился надзиратель. – Неужто ты и белых жалеешь?

– А почему бы нет? Не всех, разумеется. Тех, кто затеял эту войну, мне не жаль. Но сотни тысяч обманутых вождями белого движения... или обманывающих самих себя – им-то за что?

– Ну, ежели не врешь... – Надзиратель опять вздохнул. – Что ж, большевики все такие... как ты? Жалостливые?

– Люди все разные. Есть лучше, есть и похуже. А есть и просто мерзавцы... Ты жизнь прожил, должен и сам это понимать.

– Вопрос-то мой был с подковыркой: думал я, что ты начнешь всех своих поголовно расхваливать. Интересно... Вот ты спрашивал, что на фронте? Так знай: позавчера ваши Курск взяли.

– Курск? Освобожден Курск?! – Кольцов торопливо подошел к двери, заставив надзирателя отшатнуться. – Не врешь?

– А зачем? Я перед тобой не заискиваю: ты меня, когда ваши придут сюда, не защитишь. Я к тому, что ежели тебе это в радость, так порадуйся напоследок. – И, не ожидая реакции Кольцова на сообщение, надзиратель аккуратно закрыл оконце.

Слова надзирателя более чем обрадовали Павла. Невольно улыбаясь, сдерживая колотящееся в восторге сердце, он подумал: «Освобожден Курск. Белые бегут. Значит, не зря все было? И адъютантство, и риск, и отчаянное решение любой ценой уничтожить английские танки?..»

Быстрым шагом он несколько раз пересек из угла в угол камеру, остановился, ударил кулаком по влажной стене... и рассмеялся:

– Не зря!

## Глава пятая

Ничего личного и ничего лишнего: ни фотографий, ни картин в рамках, ни пепельниц, ни мягкой мебели, намекающей на возможность валяжного отдыха, – ничего этого не было в кабинете. Решетки на окнах, стены практичного темно-бежевого цвета а-ля Бутырка, высокие банковские сейфы. Словом, интерьер внушительный и загадочный. Хозяином здесь были не человеческие пристрастия и привычки, а нечто более отвлеченное, преданное одному только делу.

Любой, кто попадал сюда, и сам терял ощущение собственной личности. В какой-то степени вид кабинета отображал характер его владельца – начальника контрразведки Добровольческой армии полковника Щукина. Да и сам полковник, входя сюда, забывал о том, что он любящий и страдающий отец, ценитель и знаток живописи, музыки, человек не такой уж простой биографии, – он превращался в часть охранительной машины, неутомимого защитника державы и порядка.

Своим бездушием кабинет возвращал полковнику уверенность, будто он может на равных противостоять ЧК, другой такой же машине, созданной большевиками быстро, с невероятной мощью и размахом.

В молодости, как почти все дворяне, Щукин фрондировал, либеральничал, участвовал в студенческих беспорядках и обструкции «реакционных профессоров». Но однажды он стал свидетелем покушения на молодого жандармского офицера. Террорист швырнул в него бомбу. Ноги юноши в одно мгновение были превращены в кровавые лохмотья, он весь дрожал – и вдруг, собравшись с силами, приподнялся на локтях и, взглянув своими неожиданно ясными, не замутненными страхом и болью глазами на собравшихся вокруг зевак, сказал тихо и отчетливо: «Глядите? Думаете, это меня убили? Это Россию убивают...»

С тех пор что-то изменилось в Щукине. Он всерьез заинтересовался историей России: как, превратившись в огромную империю, она сама стала заложницей этой имперской мощи и величия. И как любимая им Россия уже не могла остановиться в стремлении расширить господство и с гибельным для себя упорством старалась утвердиться на крайнем востоке, на корейских и китайских землях. Как, пробив себе выход в Средиземноморье и на Балканы, основав столь зыбкое славянское братство, неизбежно вступала в противоборство с растущей, крепнущей Германией.

Революционеры, фронтеры боялись этой великой России, а Щукин вдруг стал жалеть ее, как жалеют мать еще вчера эгоистичные дети.

Щукин отказался от карьеры ученого и ушел в жандармский корпус. По чистому и искреннему желанию. Нельзя было отдать Россию и ее лучших людей на съедение террористам.

Товарищи и родственники не поняли этого шага. Над ним, как это водится у русских, смеялись даже те, против которых были обращены револьверы и бомбы террористов. Жандарм! Как это мерзко! Фи!

А на службе, где действительно было много циников и хамов, его обходили более хитрые, с карьерным огоньком в глазах. Но Щукин с монашеской одержимостью служил России, смирившись с человеческой глупостью, и в этой службе видел свой долг.

Февраль семнадцатого на какое-то время сокрушил Щукина. Да, царь был слаб, непостоянен, податлив чужим влияниям, не такой правитель был нужен России в минуту беды. Но...

Один из немногих по-настоящему близких ему друзей написал на следующий после революции день: «Россия без царя – что корабль без руля. Вмешаться в гибельный курс его мне не дано. Взирать, как выбросит смута корабль российский на камни, где он долго и мучительно будет погибать, я не в силах!» И застрелился. Может, и прав был. По крайней мере, не пришлось дожить до октября семнадцатого, когда дорвались до власти эти «товарищи» с их бре-

довой мечтой о всемирном братстве. Но покойный друг был холостяком и, умирая, сам распорядился собой. А когда на руках совсем еще юная дочь, трижды задумаешься, прежде чем револьвер к виску приставить.

Иногда полковник и сам удивлялся тем странным метаморфозам, что произошли с ним за два года гражданской войны. Ужас и отвращение, внушенные ему февральской революцией, бледнели и меркли перед теми чувствами, которые испытал он после октябрьского переворота. То, что раньше виделось катастрофой, оказалось лишь бледной прелюдией к ней. Деятели Временного правительства, эти краснобаи, проболтавшие Россию, выглядели рядом с ухватистыми большевиками слепыми и беспомощными котятками.

Нет уж! Война с большевиками за будущее России – это и война за будущее единственной дочери, ее сверстников. Нельзя проиграть такую войну: поколения, которые придут следом, поколения, хлебнувшие «большевицкого рая», не простят этого своим отцам.

В отличие от многих белых офицеров, мечтавших о реставрации монархии, Щукин хорошо понимал, что на шахматной доске истории обратный ход невозможен. Летом восемнадцатого, когда стало известно о мученической гибели царской семьи полковник, впервые напившись допьяна, безутешно и долго плакал. А выплакавшись, почувствовал неожиданное облегчение. Большевики своим преступлением лишили его всяческих моральных обязательств и запретов. Он был свободен в своих действиях с врагами России.

О, Россия! Россия великая и ничтожная, воспетая и осмеянная, спасающая народы и убивающая себя, – неужто только для того и явилась миру ты, чтоб изумлять его на крутых переломах времени непомерностью своей в добре и зле?! Какие уж тут, в российской Гражданской войне, законы, правила? Бей, режь, грабь, на огне жарь – цель оправдывает средства! Так думал полковник Щукин.

Собственноручно он, впрочем, и теперь не пытал арестованных, даже если это были отъявленные убийцы. Для такой работы хватало подручных. Но ненависти своей, хитрости, жестокости давал волю. Так продолжалось больше года. И вот Щукин столкнулся с Кольцовым. Полковник понял, что этот большевик так же, как сам Щукин и лучшие офицеры белой армии, любит Россию (может быть, другую, придуманную), но любит беззаветно и готов отдать за нее жизнь.

В тот час, когда перед начальником контрразведки открылось истинное лицо «адъютанта его превосходительства», полковник, с юности не признающий каких-либо зарок, поклялся себе, призвав в свидетели самого Господа, что Кольцов будет жить до тех пор, пока не будет уничтожен нравственно. Да, именно так. Ибо смерть физическая, щедро и скоро обещанная красному лазутчику генералом Ковалевским, не предваренная смертью моральной, была бы для Кольцова подарком судьбы.

Многое сплелось в этом отчаянном, может, и не до конца продуманном порыве Щукина. А прежде всего – многократно повторяющееся, в кровь раздирающее душу оскорбление: профессиональной чести, заслуженного долгими годами безупречной службы авторитета, отцовских чувств, наконец.

Конечно, все личное к делу, как говорят чиновники, не подошьешь. Но и безнаказанным такое не должно оставаться.

Блестящий офицер, прекрасно сшитый мундир, аксельбанты, любимец и доверенное лицо командующего (да еще и смазлив, не отнимешь) – более чем достаточно для того, чтобы вскружить голову восемнадцатилетней девчонке. Но – зачем, зачем?! И – за что?

Только затем, чтобы не скучно было? Или чтоб самолюбие свое потешить?

Только за то, что ее отец – ненавистный тебе начальник контрразведки? Или просто никого другого под рукой не оказалось?

Видит Бог: с самого начала, еще когда Кольцов более чем искусно – в этом ему не откажешь – играл роль адъютанта его превосходительства, он, Щукин, был противником каких-

либо отношений дочери с этим человеком. Не раз говорил он Тане о том, делал все возможное и невозможное, чтобы ее увлечение Кольцовым не переросло в нечто большее, но... Дочь, видно, пошла в покойную мать: та же романтическая безрассудность, упрямство, полнейшее нежелание внять голосу разума и логики.

В первые после разоблачения Кольцова дни, когда Таня была беспредельно ошеломлена и растеряна, он решил отправить ее в Париж. И жаль, что не сделал этого сразу, не мешкая. Пока она оставалась в том своем расслабленном, похожем на летаргический сон состоянии, ей все равно было – в Париж ли, в Бахчисарай или напрямик на тот свет. Но как раз тогда у него не оставалось свободной минуты, чтобы заняться дочерью. А когда наконец выкроил время, понял: опоздал, катастрофически опоздал!

Ехать куда-либо Таня наотрез отказалась. В ответ на угрозу отправить ее в Париж насильно только усмехнулась. От слов дочери можно было бы и отмахнуться, но была в глазах Тани такая непримиримость, что пришлось отступить: слишком хорошо он знал свою дочь. Понимал, отчего она так цепляется за Харьков: рассчитывала хотя бы изредка видеться с Кольцовым, облегчить чем-нибудь его участь.

Один раз, еще в самом начале, когда Кольцов был переведен из госпиталя в тюрьму контрразведки, ей это удалось. Но потом... сколько ни пыталась она проникнуть к Кольцову или хотя бы передать ему письмо – ничего у нее не получалось.

Щукин понимал: позволить Тане пусть хоть раз только увидеться с ним теперь – значит продолжить ее душевные мучения, опасную, далеко зашедшую болезнь. В таких случаях нужны решительные меры. А остальное залечит время – великий лекарь! Когда-нибудь она сама все поймет и простит.

Щукин допускал и то, что Кольцов всерьез увлекся Таней. Пусть так. Но разве не понимал он, что, вызывая в ней ответные чувства, ее же и обрекал на страшную, неизбежную муку? Все понимал! Если даже верил, что пройдет в адъютантском своем обличье по острию бритвы до конца, – все равно знал, что не быть им вместе: слишком они разные, слишком многое разделяет их. Нет, Кольцов, конечно, все знал заранее и понимал, что ждет Таню. Но не пожалел.

Так нужно ли ему жалеть Кольцова?

Но было на сердце у Щукина еще и другое – главное. Как профессионал, он всегда знал: нет ни разведчиков, ни контрразведчиков, которые не ведали бы поражений. Но когда генерал Ковалевский, умевший сохранять в самые трудные минуты свое достоинство и уважать достоинство чужое, обезумев, кричал ему в лицо: «Вы не контрразведчик, вы – дерьмо! Не разглядеть в штабе армии красного, не уберечь эшелон с танками... Какой-то мальчишка, дилетант обвел вас вокруг пальца! Любой порядочный офицер на вашем месте пустил бы пулю в лоб, а вы даже на это не способны!» – полковник Щукин жалел об одном: что не умер раньше, не застрелился, что дожил до такого позора. Ибо поражение поражению рознь, ибо то, что случилось с ним, следовало назвать крахом.

Он молча выслушал Ковалевского и молча ушел, не напомнив ему даже, что это сам генерал выбрал Кольцова себе в адъютанты. И уж, разумеется, не стал объяснять, что, не защитив свою честь и имя, не исполнив до конца свой долг, он теперь не имеет такого права – застрелиться.

За «дерьмо» Ковалевский чуть позже принес свои извинения. Всего остального генерал не понял и никогда, видимо, не поймет: невозможно оскорбить словом человека, смертельно оскорбленного и униженного действием. Тем, что сделал Кольцов.

Слабым людям неудача сообщает безволие, сильным прибавляет энергии. Раньше Щукину казалось, что работе он отдает всего себя без остатка, в ущерб семье и здоровью. Как можно и нужно работать по-настоящему, он понял только теперь.

В той широкой и многоплановой операции, которую он разработал, не все зависело от контрразведки: требовались поддержка и помощь командующего. Что ж, не зря сказано: худа без добра не бывает, – чувствуя свою вину перед ним, Ковалевский был на редкость сговорчив.

В дело арестованного Кольцова не терпелось вмешаться умникам из контрразведки вооруженных сил Юга России и Осведомительного агентства (ОСВАГа). Первые, совершенно Кольцова не зная, рассчитывали тем не менее сломить его, чтобы выйти затем и на других чекистов, работающих в белом тылу. Вторые возмечтали затеять какой-то небывалый политический процесс и поднять тем самым свои весьма невысокие акции.

Но Кольцов нужен был Шукину здесь, в Харькове. И он пока оставался здесь благодаря Ковалевскому. Их интересы совпадали. Ковалевскому тоже было ни к чему, чтобы Кольцова увезли в Севастополь и там судили, чтобы еще и еще раз все упоминались рядом с именем красного разведчика их имени.

Шукин понимал, точнее, чувствовал, что, если в скором времени он не вскроет харьковское чекистское подполье, то ОСВАГ или деникинская контрразведка добьются согласия Верховного главнокомандующего и заполучат Кольцова в свои руки. И поэтому он торопился.

Шукину нужны были войска, и командующий выделял их по первому требованию. А что такое каждый полк и даже рота в разгар напряженных боев, любой военный человек знает.

...Днем и ночью город будоражили облавы, обыски, аресты. Тщательно проверялись подозрительные квартиры, чердаки, подвалы. Во дворах рабочих окраин раскидывались поленицы дров, перелопачивались кучи угля и навоза, разбрасывались или сжигались на месте копейки сена и соломы... Дороги вокруг Харькова перерезали усиленные караульные посты. В степном бездорожье устраивались засады. Человеку, не жаждущему по каким-либо причинам встречи с контрразведкой, нельзя было – без риска оказаться схваченным – ни выскользнуть из города, ни попасть в него.

Размах, с которым велась затеянная Шукиным операция, давал свои плоды: подпольщики несли довольно серьезные, порой невосполнимые потери – кого-то хватало на случайно обнаруженных явках, у кого-то при внезапном налете и обыске обнаруживали оружие или листовки, кого-то выдавали, не выдержав пыток, свои же...

Полковник Шукин искал в первую очередь людей, помогавших Кольцову в его нелегальной деятельности.

О невероятной памяти и предусмотрительности начальника контрразведки не зря ходили легенды. В свое время, узнав, что Кольцов поддерживает отношения с какой-то девушкой и даже ввязался из-за нее в драку, Шукин приказал навести нужные справки и убедился: археолог и нумизмат Иван Платонович Платонов с дочерью действительно проживают на улице Николаевской... На том, к сожалению, он и успокоился.

И вот теперь Шукин отдал приказ о немедленном аресте отца и дочери Платоновых. Не повезло, опоздали... Но внезапное исчезновение Платоновых непреложно доказывало, что связывало их с Кольцовым. Отнюдь не страсть к археологии. Остальное представлялось делом техники: в доме на Николаевской была организована засада. Думалось, что найти их в городе, опознать, располагая подробнейшими приметами, будет нетрудно.

Искали и Юру. Его приметы тоже были разосланы по всем размещенным в городе воинским частям. Их зачитывали всем, заступающим в караул.

Но и Юра и Платоновы словно сквозь землю провалились.

## Глава шестая

Кольцов напрасно боялся, что из его короткого, в спешке написанного письма Старцевы не поймут всей серьезности положения, не позаботятся своевременно о безопасности.

В письмах людей, которых хорошо знаешь, многое читается между строк. Павла Кольцова Иван Платонович и Наташа знали хорошо. Они не представляли, что предпримет Кольцов, но одно было для них несомненным: если он советует уходить, значит, раздумьям не должно быть места!

В ту же ночь, прихватив с собой лишь самое необходимое, они покинули обжитую квартиру. И вовремя: утром, когда для белых открылась истинная роль Кольцова, на Николаевскую нагрянула контрразведка.

Новая квартира была снята подпольем для них давно. На всякий, точнее, на крайний случай. Собственно, это была не квартира, а низенький старый домик на самой окраине города, на тихой Садовой улице. Окна здесь давно были наглухо зашторены. Но никого из соседей это не удивляло: люди вообще разучились чему-либо удивляться.

Едва вселившись, Старцевы постарались удовлетворить любопытство соседей. Соседи, к примеру, узнали, что у старика-чиновника мизерная пенсия и сложная болезнь глаз, из-за которой он совершенно не переносит яркого света. Что щуплый подросток с бледным задумчивым лицом тоже похварывает. И что все заботы о мужчинах лежат на дочери старика – довольно милой, но чрезвычайно озабоченной девушке.

В общем, семья как семья. Не из удачливых, конечно, зато дружная, тихая, беззащитная. К семьям, которым не позавидуешь, люди быстро теряют всяческий интерес.

И как удивились, изумились бы соседи, в какую панику впали бы они, узнай вдруг, что неприметных и безобидных постояльцев тихого домика денно и нощно разыскивает ведомство, от одного упоминания о котором обывателей бросало в дрожь, – белая контрразведка.

Отношения с соседями у Старцевых складывались легко. Куда труднее – с Юрой.

В первые дни, когда слухи о судьбе Кольцова были весьма неясны и противоречивы, Юра все порывался уйти, твердил, что обязательно найдет Павла Андреевича и постарается ему помочь. Его приходилось удерживать едва ли не силой.

Нервное потрясение, перенесенное мальчишкой с потерей старшего друга, пугало Старцевых: он то часами молчал, то плакал, то – что и вовсе ему было не свойственно – откровенно грубил. Иван Платонович и Наташа, несмотря на всю тяжесть, опасность собственного положения, всерьез опасались за Юру: им казалось, что мальчик сломлен, близок к нервной горячке.

К счастью, обошлось. И все равно за ним, готовым на любое безрассудство, нужен был глаз да глаз. Не просто это – удержать в четырех стенах против его воли мальчишку, немало уже на своем коротком веку повидавшего и способного на решительный шаг.

Юра, уверенный, что Старцевы не хотят понять его из-за каких-то своих интересов, в порыве отчаяния провел страшную параллель. Несколько месяцев назад в Киеве, когда он жил в семье тетки, заговорщики из подпольного Национального центра использовали его в своих целях. А потом, когда организация была раскрыта и начались аресты, хотели его убить, чтобы все, что было ему известно, не узнали чекисты. Положение, в котором он оказался нынче, можно было сравнить с киевским. Разница лишь в одном: теперь он мешал не белым заговорщикам, а красным!

Юра выкрикивал это Старцевым, и смотреть на него было страшно. Иван Платонович бледнел и хмурился. Наташа, убитая пусть детской, но все равно чудовишной несправедливостью, лишь молила Юру говорить тише.

Когда Юра наконец умолк, заговорил Иван Платонович:

– По всем законам и правилам, нам с Наташей надо было бы бегом бежать из Харькова сразу после того, как ты принес письмо Павла Андреевича. Мы не сделали этого, хотя вполне, смею тебя уверить, понимали, чем рискуем. Мы не сделали этого, потому что есть долг. Пока идет война, мы с Наташей больше нужны здесь, чем за линией фронта. Что такое долг и честь, тебе, надеюсь объяснять не надо. В своем письме Павел Андреевич просил позаботиться о тебе. В этом мы тоже видели свой долг. Но тем непростительнее оскорбление, которое ты наносишь нам!.. Тебе нужна полная свобода? – Иван Платонович подошел к запертой, по обыкновению, двери, вставил в замок ключ. – Ты свободен! Тебя никто не удерживает. Ты достаточно взрослый человек и вправе поступать как хочешь. Но знай: выйдя за порог этого дома, себя ты, быть может, и не погубишь, а нас с Наташей – обязательно! И тем самым только осложнишь положение Павла Андреевича, которое и без того ужасно.

Слушая Ивана Платоновича, Юра угрюмо смотрел себе под ноги. Наташа, не выдержав, обняла его, и он, по-детски беспомощно уткнувшись ей в плечо, тихо и горько, давясь слезами, заплакал. Эта минута стала переломной в их отношениях. И хотя в дальнейшем тоска Юры не уменьшилась, особых хлопот с ним у Старцевых больше не было. Во всем доверившись им, он терпеливо, мужественно переносил и вынужденное свое заточение, и связанную с этим бездеятельность, и необыкновенно медленный шаг времени, пока не сулящего никаких, даже самых слабых, надежд.

Юра не спрашивал, как и чем можно помочь Кольцову, был внешне спокоен, послушен. И только заглянув в глаза мальчишки, можно было догадаться, как глубоко он страдает.

Иван Платонович и Наташа и видели, и разделяли эту вызванную тревогой за судьбу Кольцова боль.

\* \* \*

...Весть о том, что в роли старшего адъютанта командующего Добровольческой армии долгое время был красный разведчик, прокатилась по белому тылу и войскам подобно взрывной волне от фугаса огромной мощности – мгновенно, громогласно, грозно. Наверное, и Ковалевскому, и Щукину, и многим-многим другим хотелось бы скрыть это воистину страшное происшествие. Да что там!

Что сделал капитан Кольцов с английскими танками, уж где-где, а в Харькове стало известно сразу. И пошло, и покатилося... Как взрывная волна: оглушая что людей военных, что обывателей, разрушая убежденность и веру.

Добираясь до фронтового офицерства, слухи обрастали самыми невероятными, фантастическими подробностями. Боевого энтузиазма все это, понятно, не добавляло.

Можно сказать с уверенностью: даже в то время, когда беспомощный, еще не пришедший в сознание Кольцов был прикован к больничной койке, имя его и связываемые с ним легенды продолжали дело, которому он служил.

Дальнейшее сокрытие тайны было невозможно. Потому-то и появилась в конце концов в газете Добрармии короткая, будто сквозь зубы продиктованная, заметка о Кольцове.

Наташе это скупое известие принесло облегчение – пусть и недолгое, относительное, но достаточное для того, чтобы выйти из оцепенения. Теперь она точно знала: Кольцов жив – так, значит, и борьба за его жизнь будет продолжена! Пожалуй, только тогда и поняла она до конца, как дорог ей этот человек. Поняла, что любит Павла давно, еще с детских лет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.